## Под знаком водолея

# Сергей Снегов

Ударная бригада инженеров-землекопов постепенно таяла. Двух или трех вызвали в Москву на переследствие — не то освобождать, не то добавить срока заключения — случалось и то, и другое. Несколько «доходных» старичков устроили в «лагерные придурки», то есть перевели служить в конторы лагеря или строительства. Стали направлять и на работу, как-то отвечающую специальности. Первым таким счастливцем стал, я уже говорил, Александр Иванович Эйсмонт: он прочно засел в Норильскснабе. Вскоре дошла очередь и до моего друга Александра Прохорова: в Норильск с каждым пароходом приходило энергооборудование, и то, которое он до ареста закупал в Соединенных Штатах. Без настоящего знатока электрических машин нельзя было даже рассортировать их, не говоря уже о грамотной эксплуатации.

Среди изъятых из бригады Потапова был и другой энергетик — Михаил Петренко. И перемещение его «с общих работ в тепло» произошло так своеобразно, что стало на время важной темой для лагерного трепа. Петренко жил в соседнем бараке. Вечером мы с Сашей Прохоровым пошли выслушать из первых уст историю его внезапного возвышения.

Не могу сказать, чтобы я хорошо знал Петренко, его никто хорошо не знал. Широкоплечий, красивый, на голову выше меня, насмешливый и резкий, он дер-жался от всех особняком. Прохорову он по приезде сказал, что надеется на скорое освобождение, таких как он, либо сразу расстреливают, либо держат в заключении только для видимости. Но его не расстреляли, значит освободят досрочно, то есть не дальше двух-трех лет. Он, мы знали это, был из молодых специалистов, которые быстро взбирались по служебной лестнице в годы 1936–38-е, когда тюремная эпидемия радикально чистила начальственные кабинеты. За несколько лет он пробежал в административном аппарате от рядового инженера до начальника не то главка, не то управления. Энергооборудования в Наркомтяжпроме. И быть бы ему в самой скорой скорости замнаркома, не срази его зараза чьих-то доносов.

Петренко сидел на скамье у стола, а вокруг — на той же скамье и на нарах — размещались слушатели. Мы с Прохоровым тоже уселись на нары. Петренко с воодушевлением разглагольствовал:

— А началось, ребята, с того, что я заметил, как раскачиваются лампочки на столбах. Ну, думаю, дает ветер! А грянут пятидесятиградусные морозы и сорвутся дикие пурги? Я спросил Александра Ивановича, он уже засел в Норильскснабе, сколько лампочек занаряжено Норильскстрою до следующей навигации. Двести тысяч штук, вот такую он дает справку. Все ясно, думаю, в середине полярной ночи Норильск погрузится во тьму. И пишу заявление нашему главному начальнику Завенягину: есть все основания считать, что в феврале Норильскснаб израсходует последнюю лампочку, потому что в условиях Заполярья срок службы осветительных приборов существенно сокращается. Имею по этому поводу конкретное предложение — прошу принять лично. На другой день в бараке курьер с винтовкой: срочно за мной, вещей не брать. И прямо к Завенягину. А мы с ним и на воле были немного знакомы: он требовал в Наркомтяжпроме всякое оборудование для Магнитостроя, где работал директором, я по своей линии старался удовлетворить. «Знаете ли вы, — говорит он, — что Госплан решительно отклонил нашу просьбу о большем количестве лампочек? Вы собираетесь воздействовать на Госплан, который отказал мне?» Не на Госплан, говорю, в Госплан у меня нет ходов. Но если разрешите дать личную телеграмму на склады Госрезерва, то там у меня были связи, в прошлом не раз выручали меня, а я, естественно, их. Он берет ручку: «Адрес складов Госрезерва, кто там начальником? — И объясняет: — Дам телеграмму от своего имени, можете идти». И тот же гаврик с винтовкой — дежурил за дверью — обратно в барак. Это было две недели назад.

— Две недели никому ни слова! — восхитился Прохоров. — Выдержка у тебя, Миша!

— Нечем похвастаться, вот и вся выдержка. Я ведь на что рассчитывал? Посадили меня без права переписки, знакомые наверняка думают, что расстрелян. А я, нате вам — жив! Впечатление, понимаете! И вот дней пять назад снова посол с винтовкой. Завенягин мрачней нашего заполярного неба. «Вы издеваться надо мной вздумали, а ваши приятели заодно с вами?» И сует ответную телеграмму: «Материалами Госрезерва распоряжается маршал Ворошилов. Сообщаю его адрес: Москва, Фрунзе, 19». Я говорю: «Простите, гражданин начальник строительства, но ведь я предлагал послать телеграмму лишь с вашего согласия, но от своего имени». Он указывает на стол: «Пишите!» Я пишу: «Дорогой Коля, жив, здоров, работаю Норильскстрое. Очень прошу выделить для нашего заполярного строительства тысяч двести электролампочек. Заранее благодарю. Петренко». Завенягин: «Сегодня же отправлю, но если и тут будет обман...» И поглядел — ударил! А вчера новый вызов, совсем другое лицо. Вежливо предлагает сесть, показывает телеграмму: «Счастлив, что ты здоров. Лично слежу продвижением вагона лампочек адресу Красноярск, контора Норильскстроя. Николай».

— Воистину, блат носит пять ромбов! — воскликнул кто-то из слушателей.

— Покажи телеграмму! — потребовал Прохоров.

— Еще чего! На ней же стоял шифр «секретно». Хоть и мне адресована, но держать ее не имею права. Я не кончил, ребята. Завенягин говорит: «Завтра вас переведут из бригады общих работ в Норильскснаб. Получите пропуск для бесконвойного хождения по всем производственным объектам, вам также назначается персональный оклад в размере двухсот пятидесяти рублей в месяц».

— Не оклад, а промвознаграждение, — поправил другой слушатель. — Оклады только у вольных.

— Ну дела! — воскликнул Прохоров. — Миша, говорю тебе точно: в будущем году выйдешь на волю! Завенягин хороших работников ценит.

— И я так думаю, — скромно согласился Петренко. — И уже написал своим, что надеюсь в будущую навигацию появиться в Москве.

...Михаил Петренко в будущем году не появился в Москве. Еще немало лет должно было пройти, прежде чем он вышел на волю. Завенягин был многовластен, в недалеком будущем ему предстояло возвыситься до заместителя самого наркома НКВД, он мог своей властью посадить любого в тюрьму или ввергнуть в лагерь, но освободить уже посаженного было сверх его сил и прав. Петренко освободился из лагеря не скоро и не на радость. Он выглядел крепче любого из нас, но его сразил паралич — и уложил, уже вольного, в постель на долгое и мучительное умирание. Не знаю, действовал ли тут климат, или безрадостное существование, но среди моих знакомых четырех человек свалили параличи. И хоть в Норильском лагере обитали десятки тысяч заключенных, я числил в знакомых человек сто, от силы полтораста. Четверо паралитиков на полтораста здоровых людей — слишком зловещая цифра, чтобы ее отнести лишь к статистически вероятным...

Мы — инженеры-землекопы — продолжали уменьшившейся бригадой ходить на промплощадку Металлургстроя. Но уже не снимать дерн с земли, а копать котлованы. И труд стал мучительно трудней, и погода не радовала. Отведенный нам уголок планеты в сентябре попал под созвездие Водолея. Ничем другим я не могу объяснить, почему так низко оседали на горы тучи, почему они были так черны, так обильно напоены водой. Дождь лил и лил, как заведенный, он переставал изредка на часок, чтоб потом припустить с учетверенной силой. Он шел только днем и, похоже, только для нас. Поздним вечером, когда мы укладывались на нары, он переставал. Ночью неяркие звезды насмешливо подмигивали раскисшей, заболотевшей земле. К утру небо снова хмурилось.

Мы выходили на развод к шести часам. Охрана пропускала через ворота тысячи заключенных, отсчитывая при свете факелов и ручных фонарей каждую пятерку. Операция выхода на работу занимала не меньше двух часов. Полчаса из них можно было слукавить в бараке, но на большее нас не хватало: по зоне метались коменданты и нарядчики, лучше дрожать в колонне, медленно подползавшей к воротам, чем сносить брань и тычки. Чтобы подстегнуть нас, нарядчики временами объявляли, что сегодня — развод без последнего. Ну и торопились же тогда! Последнему, замешкавшемуся в зоне, так доставалось, что в этот день ему выдавали в медпункте освобождение, не допытываясь, где болит и давно ли началась хворь.

Я замечал, что дождь терпеливо выжидает, чтоб я пристроился в свой ряд. Пока я торчал в очереди за едой и слонялся по зоне, он собирался с силой. Первые капли падали, когда я подталкивал Хандомирова к краю, чтобы стать на свое место. Потом с другого бока меня толкал неповоротливый Липский, а его Альшиц, и дождь усиливался. Наши движения синхронизировались: мы делали шаг, он — скачок, мы приближались к вахте, он становился гуще. За воротами, на улице, мы всей колонной бежали, а он лил как из ведра.

Все это было по-своему забавно. Иногда мне даже нравилось мое странное существование: и эти черные тени, мечущиеся по зоне от нарядчиков, как грешники от чертей, и эта серая дождливая завеса перед глазами, и расползающаяся под ногами земля, и пылающие у вахты факелы, и громкие крики охраны: «Проходи! Первая, вторая, третья!..» Я уговаривал себя: «Надо, дьявол его дери, испытать и такое — насколько жизнь твоя стала богаче впечатлениями!» Нормального человека подобные рассуждения, вероятно, лишь возмутили бы. Я к нормальным людям не принадлежал. Жизнь играла в каждой моей клетке, я не мог не радоваться жизни, как бы она ни была скверна. Я был счастлив уже потому, что существовал, что явился в этот довольно нелепый, но, в общем, сносный мир. Остальное было тоже важно, но не так. Думаю, что и тело, и дух мой требовали жестокого испытания, как ноги требуют порой бега, а кулаки — драки. Я утверждал себя, упрямо отвергая все, что пыталось меня согнуть. Даже в следственной камере, шагая из угла в угол, я вечно что-нибудь мурлыкал под нос. Многие считали меня дурачком, другие простачком, Анучин утверждал, что я попросту здоровяк. Как бы там ни было, мне иногда бывало хорошо, когда было плохо.

Подставляя горевшее лицо холодной россыпи дождя, я начинал непроизвольно напевать. Меня толкал локтем Липский.

— Займемся делом. Вчера мы остановились на преобразованиях Лоренца.

Мы уже несколько дней коротали развод во взаимных лекциях. В эту неделю была моя очередь, я излагал Липскому теорию относительности. Без бумаги и карандаша это было непросто, но он легко разбирал и запоминал формулы, написанные мной пальцем в воздухе. Я говорил вчера об опытах Майкельсона и Морли, о принципах механики Ньютона, о нелепом, ничего не выражающем абстрактном пространстве Ньютона, вытеснившем из науки живое, телесное, реально существующее пространство Декарта и Спинозы, и о том, к каким парадоксам привело это незаконное вытеснение. Когда я принялся чертить в воздухе знаменитую формулу Эйнштейна для замедления времени на движущихся телах, Альшиц с тоской проговорил:

— Как вам не надоест, товарищи? Так плохо, так абсолютно плохо, а вы еще о каких-то относительностях! Неужели не можете найти другого времени для ваших формул времени?

Я сконфуженно замолчал. Альшиц кутался в свой роскошный шалевый воротник, наружу высовывался один посиневший нос. Он устал, еще не выйдя на работу. Даже наш негромкий разговор заставлял его страдать. Я вытер полотенцем, висевшим у меня на шее, мокрое лицо. Поднимался ветерок, дождь бил в глаза. С каждой минутой становилось холоднее.

— Продолжайте, — сказал Липский. — Мы не мешаем, мало ли у кого расходятся нервы!

Он стоял к Альшицу вполоборота, чтобы заслонить его спиной от моих объяснений. Я понизил голос. Речь шла о потрясающих открытиях. Все, что в мире имело массу, содержало и скрытую, невероятно огромную энергию, теперь это было доказано научно строго, простым разложением в математический ряд. А сама механика Ньютона с ее крохотными кинетическими энергиями и микроскопическими земными скоростями оказывалась лишь частным случаем, предельной гранью этой новой, созданной совсем недавно, какие-нибудь тридцать лет назад, могущественной механики больших энергий и скоростей.

Мы так увлеклись, что и не заметили, как подошли к воротам. Раздалась команда:

— Бригада Потапова, вперед! Первая, вторая, третья...

Одна пятерка за другой выбирались на улицу и там останавливались, поджидая, пока не сосчитают всех. Конвоиры выстраивались в голове с винтовками наперевес, как бы собираясь в атаку, с боков нас охраняли стрелки с овчарками. Потом старший в конвое закричал: «Пошли!» — и мы побежали. Мы не могли не бежать. Бег начинал передовой стрелок, озябший за время развода, в бег рвались овчарки, застоявшиеся у вахты, в бег стремились и мы сами — только бег мог нас согреть. Мы бежали, проваливаясь в лужи, толкаясь и теряя равнение, квартала три или четыре, потом понемногу замедляли шаг. Сверху, из невидимых туч, лился ледяной дождь, навстречу ему поднимался густой пар. Мы двигались, окутанные паром, как саваном. Мы уже не только мокли, но и просыхали. Наступало равновесие между низвергающейся на нас водой и водою, испаряемой нами. Равновесие это было довольно сырым. Последние дома улицы Заводской остались позади. Впереди показалась вахта промплощадки.

— Вчера у Завенягина снова решали, как с нами быть, — сказал Альшиц. — Скоро мы узнаем, кого еще отобрали на специальную работу. Все на свете имеет конец, даже безобразие... Больше недели я не вынесу. У входа в производственную зону бег сменился очередным топтанием на месте. Каждая пятерка придирчиво сосчитывалась, потом пропускалась. Ветер дул в спину, я запахнул воротник, чтоб дождь не проникал за шиворот. Наступил смутный рассвет. С гор летели растрепанные дикие тучи, земля всхлипывала под ногами. Мир был безобразен, конечно. Но он трогал мое сердце даже своим безобразием. Я готов был выносить его ровно столько, сколько буду жить, — ни секундой меньше! Другого мира не имелось.

Как следует рассвело часов в одиннадцать. Я разогнул ноющую спину и вылез из котлована. Гор не было видно из-за окружавших их туч. Мне иногда казалось, что облака не опускаются на горы, а нарождаются на горах. Тучи сползали с вершин по склонам, срывались в долину и неслись темной массой, оставляя на пиках лиственниц зацепившиеся космы. Обычно во время дождя туч не видно. Но северный дождь по три раза в час меняет свою природу. Сейчас тоже шел дождь, но неслись тучи. Этот северный дождь мало напоминал веселые ливни юга. Он не был похож и на тот, что разразился на разводе. Он состоял теперь из мельчайшей водяной взвеси, непрерывно опускавшейся на землю. Когда задувал ветер, взвесь устремлялась вперед — и начинало казаться, что ты попал в разреженный поток воды. В этом удивительном дожде не было ни капель, ни струй, но из-за обилия воды не хватало воздуха. Я разевал рот и, как рыба, глотал это химическое соединение воды и воздуха, отплевывая воду и проглатывая воздух. По мху и глине с шелестом уносились мутные потоки.

Липский, увидев, что я выбрался наружу, сделал мне знак подойти. Он стоял с Альшицем и Алексеевским. Вместе со мной к кучке приблизились Хандомиров с Яном Ходзинским. Тот раньше трудился на другом краю площадки, а сейчас перебрался к нам. У нас было веселее, мы чаще собирались на отдых и дольше занимались коллективным трепом.

— Потапова потребовали к начальству, — сказал Альшиц. — Что бы это значило?

— Это ничего не означает, — разъяснил Хандомиров. — Устроят ему втык за плохую работу бригады.

— Нас сегодня вызовут для разговора, — решил старый химик Алексеевский. — Вот увидите, вызовут!

Ходзинский дрожал от холода и сырости, у него посинело лицо. По щекам Липского текла вода. К середине дня Липский падал духом, к вечеру снова отходил. Перед перерывом на обед он изнемогал до того, что готов был лечь в болото. Кружка кипятка, принесенная из конторки, взбадривала его, как иных стакан вина.

— Пустыня, — сказал он горестно, оглядываясь красными от усталости глазами. — Одна пустыня, даже березки нет!..

Березок не было, потому что мы их все срубили на площадке будущего завода. Я хотел напомнить об этом Липскому, но разговор захватил Ян Ходзинский. Ян был человек особого склада, у него не бывало упадка духа. Я уверен, что он мог бы смеяться и шутить даже после допроса с избиением. Он был жизненаполнен и бодр. Родители, видимо, замесили его не на обычной нашей жиденькой водичке унылого приспособления к жизни, а на крутом концентрате оптимизма. В любом положении он находил что-нибудь такое, что радовало. Хандомиров острил, что, когда Ходзинского поведут на расстрел, он будет торжествовать: «Вы слышали, меня собираются расстреливать? Не вешать, не топить, не четвертовать, а расстреливать! По-моему, это неплохо!» Даже голос у него был своеобразный — тонкий и пронзительный, слышный на далеком расстоянии.

— Сегодня утром вызвали на освобождение Збарского, — сказал Ходзинский, улыбаясь посиневшим лицом и стараясь сдержать дрожь в ногах. — А он всего две недели назад получил первое сообщение о переследствии. Колесо раскручивается назад. Следующий, очевидно, Липский. Вот увидите, не пройдет и года, мы все выйдем на волю!

На его разнесшийся по площадке голос пришло еще человек пять. Теперь не меньше трети бригады, забросив работу, спорило, точно ли раскручивается колесо назад и будут ли полностью исправлены ежовские перегибы Липский и без Яна знал, что его вскоре освободят На воле он работал главным инженером одного из крупнейших мясокомбинатов страны. Жена его недавно сообщила, что посетила Микояна, тот хорошо знал Липского по работе и обещал посодействовать пересмотру дела. Содействие такого человека было равноценно гарантии. Липский уныло махнул рукой в ответ Ходзинскому. Освобождение приближалось, но до него еще надо дожить. Он снова с тоской оглянул небо и землю. Ветер по-прежнему нес в лицо ледяную мокрядь, от нее нигде не было спасения. Липский выкрутил полу набрякшего бушлата, из-под пальцев струйками брызнула вода.

— Двенадцать часов дня, — сказал он — Еще шесть вкалывать. Шесть часов!

Я возвратился в свой котлован, но взялся не за кирку, а за карандаш и блокнот.

Я чиркал и вписывал, снова чиркал, потом прочитал, что получилось:

Пустыня. Ничего. Ни лоскутка

Шатра случайного, ни ели, ни березы

Пустыня. Камни. Горная река

Вода, текущая по мху, как слезы

Земли угрюмой ледяная дрожь

Да тучи, рухнувшие в неботрясенье...

Холодный дождь, холодный мелкий дождь...

Нет мне защиты, нет спасенья!

Когда я управился со строчками, меня охватил восторг. Я захохотал и пригрозил кулаком затученному небу. Теперь я со всеми ними сосчитался — и с небом, и с дождем, и с землей, и с ветром. Отныне они бессильны надо мною. Я с наслаждением подставил ветру лицо, кожа приятно горела от ледяной воды.

— Сергей, давай сюда! — донесся издалека пронзительный голос Ходзинского. Тебя требуют на завод.

Я кинулся на голос. Над группкой взволнованных инженеров возвышался рослый Потапов. Он сердечно пожал мою руку.

— Поздравляю! Главный металлург пожелал познакомиться с вами. Насколько я понимаю, на днях вы покинете нашу бригаду.

Сгоряча мне показалось, что я один удостоен почетного приглашения. Я собирался немедля бежать на завод, Потапов задержал меня. Всего отобрали двенадцать человек, надо идти компактной группой. Один за другим подходили вызванные. Среди них был и Альшиц, он впервые за много дней улыбался.

— Дорога туда неважная, — сказал он. — Нехорошо, если перед приемом у главного металлурга мы с вами вываляемся в грязи.

Если ближние горы были видны довольно отчетливо, то тундра вся пропадала в пелене дождя. Где-то внизу, на выходе в равнинный лесок, лежал небольшой заводик, куда нас потребовали. К нему надо было спускаться по бездорожью — скользить по мшистым склонам, пересечь Куропаточий ручей, огибать болота и озерки. И надо было торопиться, нас вызывали на двенадцать часов, а шел второй. Мы с Альшицем взяли друг друга под руки, это помогало в трудных местах.

Я никогда не бывал на металлургическом заводе и, проходя по плавильному цеху, замедлил шаг. Из огромного конвертера (спустя два года, увидев настоящие конвертеры, я понял, что этот, поразивший меня величиною, был скорее игрушечным) выливали сваренный металл, во все стороны летели огненные звезды. Мне показалось, что это шарики металла, так они ослепительно сверкали. Я со страхом склонял голову, чтоб один из этих шариков не попал мне в лицо. Путь шел через сноп звезд, и, набравшись духа, я пронесся сквозь их сияющую россыпь, как земля проносится сквозь рой метеоров. Я тут же с тревогой осмотрел себя, нет ли ожогов, не тлеет ли одежда. Альшиц смеялся, я был смущен. Напугавшие меня брызги, погасая, превращались почти в пыль.

Главный металлург Федор Харин ожидал нас в кабинете начальника завода Ромашова. У входа в кабинет мы осмотрели друг друга — нет ли на лице грязи? На одежду мы не обращали внимания, она была так грязна, что к ней без скребка и не следовало подступаться.

Один Альшиц сдунул какую-то пылинку со слоя глины, покрывавшей полы его роскошного пальто, и поправил грязное полотенце на шее, как поправляют галстук. На ногах у него взамен выброшенных ичигов были, как у всех нас, новенькие кожаные сапоги.

Главный металлург, худой мужчина средних лет, встретил нас приветливо — назвал по фамилии, пожал каждому руку, пригласил сесть. Мы давно уже не ведали такого человеческого обращения, некоторые растрогались до слез. Но я не ощутил, что ко мне отнеслись как-то по-особому, мне было не до сантиментов. Около стола главного металлурга стояла великолепная женщина. Я еще не видал таких женщин, даже не подозревал, что они бывают. Я не мог отвести от нее глаз. Она была невелика. Ни высоченные, сантиметров на девять, каблуки, ни узкое платье не могли скрыть ее малого роста. Она и не собиралась его скрывать. Она стояла так, словно гордилась миниатюрностью. Волосы темного золота искусно вились, она часто встряхивала ими при разговоре, она отлично знала, как ей идут эти нарядные волосы. Но первым, что приковывало внимание, были ее глаза — неправдоподобно огромные, четырехугольные, до того нестерпимо сияющие, что долго вынести их взгляд было непросто. Женщина курила папиросу, длинную, как сигара, на кончике папиросы при каждой затяжке вспыхивал красный огонек, от огонька лицо алело. Это ей тоже шло. И от нее разбегались волны каких-то духов, давно позабытый в нашем теперешнем зловонном существовании аромат. Я весь подался вперед, чтобы полнее им насладиться, у меня сильно забилось сердце от этого необыкновенного запаха. Альшиц дернул меня за руку, чтобы я вел себя приличней. Женщина заметила, что я рассматриваю ее с тупой восторженностью, и улыбнулась. В нее уже не раз влюблялись с первого взгляда, нового тут не было.

Я не помню, о чем говорил Харин, у меня путались мысли от совершенства этой женщины, от ее улыбки, источаемого ею аромата. Я разобрал только, что нас направляют в опытный металлургический цех, где производятся различные технологические исследования, и начальник этого цеха Ольга Николаевна Лукашевич — она! Я мигом повернулся к ней:

— Значит, теперь мы — ваше хозяйство?

— Да, мое. — Она довольно засмеялась. — Если, конечно, вы сами этого хотите — идти в наш цех, а не в другое место.

— Я ничего в жизни так не хотел, — выпалил я. — И ни на какое другое место не соглашусь!

Она мило кивнула головой и сделала такую затяжку, что на кончике папиросы вспыхнул язычок пламени.

Харин тоже улыбался. Хотя вольным строго воспрещалось радоваться счастью заключенных, а тем более — содействовать их счастью, он радовался за нас, что больше нам не изнемогать на непосильных общих работах, и за себя, что избавляет нас от них. Он не скрыл своей кощунственной радости.

— Надеюсь, никто не огорчен перспективой поработать в тепле и по специальности? — спросил он шутливо, не сомневаясь ни секунды, что все мы выразим в ответ шумную радость.

— Лично меня такая перспектива не устраивает, — чопорно сказал Альшиц.

Он встал и снова поправил на шее полотенце. Он был смешон в своей полунищенской — полубарской одежде. Покажись такой человек на улице города, его бы заулюлюкали мальчишки, обсмеяли взрослые, на него сбежались бы все собаки. В Норильске осенью тридцать девятого года никакой одежде не удивлялись. И все улыбки погасали, как только взгляд переходил с одежды на самого Альшица. Он жалко сгибался под дождем, уныло кутался от ветра, но перед людьми стоял прямо и гордо. Он мгновенно менялся, когда заговаривал с незнакомыми, особенно с вольными. Все в нем — и осанка, и ясный взгляд, и спокойная речь — утверждало его значение. Он мог быть ввергнут в заключение, но его не сделать иным, чем он есть, — так пусть все знают, каков он!

В тепле, конечно, лучше, чем на холоду, — сказал он вежливо, — но я мечтаю не о тепле и не о легком труде, а о такой работе, на которой могу принести максимум пользы. Как вам известно, я коксохимик.

Вы сможете заняться коксом в опытном цехе, — пообещал Харин. — Ваши исследования пригодятся для нашего будущего коксохимического завода.

Нет, — сказал Альшиц. — Исследования меня тоже не устраивают. Мне нужно участвовать в проектировании и строительстве этого вашего будущего завода — так лучше для завода, все остальное не так важно. Заключенным не полагается возрожать начальству, они обязаны смиренно слушать, покорно отвечать: «Так точно!» — правило это вдалбливали в нас уже не один год. Могли и просто приказать нарядчику: «Такого — туда-то!» — не расспрашивая, какой кто пожелал работы, и все тоже было бы в порядке. Строптивость Альшица, по нормам нашего нынешнего существования, была не только нетактичной, но и наказуемой. Харин удивился, но и не подумал пригрозить карой за непослушание. Мне показалось, что он слушает почти с сочувствием.

— Возвращайтесь на свои общие работы, раз вам не улыбается в опытном цехе, — сказал он. — Со своей стороны обещаю, что при встрече доложу о вас начальнику строительства. Возможно, он создаст специальную группу по проектированию коксохима.

Когда мы вышли из кабинета, я с возмущением обратился к Альшицу:

— Мирон Исаакович, вы — полоумный! Пока создадут вашу проектную группу, вы трижды окочуритесь в котловане. Вы сами говорили, что больше недели не протянете.

Он высокомерно посмотрел на меня.

— Никто не гарантирован от временного упадка духа, мало ли что говорят в такие минуты! Между прочим, котлован не так пугает меня, как вы думаете. Человек постепенно привыкает к любой работе. Самые трудные дни уже позади.

— Самые трудные дни впереди! — настаивал я. Надвигается зима. Разве не лучше пересидеть зиму в тепле? Через несколько месяцев вы спокойно пошли бы проектировать свой коксохим.

— Нет, не лучше. Одна мысль о том, что у них теряет силы на общих работах специалист-коксохимик, заставит их поторопиться с организацией проектной группы. Ради этого стоит потерпеть и дождь, и холод, и даже штрафной паек. Вы не согласны со мной? Тогда еще одно соображение: я равнодушен к юбкам, в противоположность вам. В опытном цехе для меня нет ничего притягательного.

Я молчал Альшиц насмешливо добавил:

— Между прочим, вы не заметили, какие у нее крупные, пожелтевшие от курения зубы?

— Нет, — сказал я, разъяренный. — К зубам я не присматривался. Зато я видел ее красные губы; припухшие, как у Афродиты Книдской! Стоит отдать полжизни, чтобы вволю нацеловаться с такими губами!

Снаружи шел муторный ледяной дождь. Недавняя водяная взвесь, напитавшая воздух, сменилась настоящим ливнем, вроде того, что был утром. Товарищи мои заторопились обратно на площадку Металлургстроя, чуть не падая от поспешности, хотя и там их не ждала защита от дождя. Я заскользил по грязи дальше в тундру. Недалеко от Малого завода разместилась Малая обогатительная фабрика, деревянное здание, в котором размалывали и обогащали местную руду. Где-то около нее трудился Анучин. Я хотел поделиться с ним стихами, порадовать его, что с общими работами для меня покончено. Мы с ним все больше сдруживались. Этот немолодой учитель литературы, ровесник века, сам писал стихи, я многие из них знал наизусть. Кроме того, он скромно признавался, что был знаком с Есениным, какое-то время даже приятельствовали — не на одного меня это производило сильное впечатление.

Выбравшись к фабрике, я обошел ее кругом. Во многих местах валялись под дождем деревянные тачки, дощатые трапы показывали, куда вывозится вынутая земля. Никого не было видно ни на площадке перед зданием, ни в самом здании.

Я уже собирался возвращаться назад, когда меня окликнул усталый голос Анучина:

— Сережа, идите сюда. Я под тачкой.

Только сейчас я разобрал, что под некоторыми тачками прикорнули люди. Примитивное убежище от ветра не защищало, но крыша над головой была. Анучин вытянул под дождь ноги, чтобы дать мне уголок. Тачку опрокинули на сравнительно чистых» хоть и мокрых, как и все в этом мокром, тундровом мире, досках, можно было даже полежать на них, как на нарах. Я сумел засунуть под тачку голову, — мне и этого хватило — одежда не могла уже больше промокнуть.

— Вот так мы и живем, — с печалью проговорил Анучин, — Прораб и бригадир убрались от дождя подальше, а мы решили немного пофилонить. Кстати, вы знаете, что это такое — филонить?

— Знаю, — сказал я. Примерно то же самое, что волынить или отлынивать. Еще можно кантоваться значение то же.

— Да, верно... Никогда не думал, что будет время, когда мне захочется уклониться от работы! Как странно идет наша жизнь. У вас что-нибудь новое?

— Две новости. Я написал стихи.

— Читайте! — предложил Анучин, оживляясь. Я люблю хорошие стихи, Сережа.

Я не был уверен, что мои стихи хороши. Оживление Анучина быстро погасло, он слушал вежливо и сдержанно. Он по натуре не мог говорить людям пакости. Если требовалось кого-нибудь обругать, он огорчался больше, чем тот, кому доставалось. Я видел, что он не наберется духу заговорить. Мне стало жаль его.

— Я и сам знаю, что это не Пушкин и не Блок, — приободрил я его.

— Нет, почему же? — промямлил он. — В общем, стихи средние, скорей даже,очень средние, Сережа... Но хорошо, что вы их написали. Как говорил Маяковский, выржали душу... Между прочим, треугольник рифм «розы/слезы/березы» уже и при Пушкине был выброшен из поэтической геометрии за невозможностью дальнейшего использования...

Меня обидел его отзыв. Все же мои стихи были не хуже, чем его собственные. Втайне я был уверен, что даже лучше. Я сказал:

— Если вам не нравятся эти стихи, прочту другие. Написал вчера.

— Читайте, — сказал Анучин без энтузиазма. Я стал читать:

В невылазной грязи телеги тонут,

Из вязкой глины не извлечь кирки

Прорабы не командуют, а стонут,

И пайки сверх возможного легки.

В бараке вонь, и гам, и мат. В газете

Висит таблица вынутых кубов.

И парочка блатных творит в клозете

Трусливую, нечистую любовь...

— Это уже лучше, — одобрил он. — Натуралистическая картинка в стиле Саши Черного. Интересный был человек, я его знал. Правда, в его время до лагерного реализма художественная литература не поднялась. Так что у вас за вторая радость, Сережа?

Я рассказал о вызове к Харину и о том, что скоро распрощусь с общими работами. Я восторженно описывал опытный цех, новую для меня профессию металлурга-исследователя. Анучин недоверчиво посмотрел на меня и покачал головой.

— Вы что-то скрываете. Вряд ли вас так уж прельстила профессия металлурга. Новых специальностей обычно побаиваются, особенно в нашем положении, когда каждый промах объявляется вредительством И потом, я никогда не замечал, чтобы вы особенно тяготились общими работами.

Меня обидело, что он не порадовался повороту моей жизни.

— По-вашему, я восхищен, что копаю котлованы?

— Нет, вы не восхищены, но и не подавлены. Уверен, что вам немного нравится, что пришлось в жизни нюхнуть и такого пороха. Вы вообще из тех, кто умеет радоваться жизни. И не надо таиться, Сережа, я ведь знаю, что случилось еще что-то.

Тогда я признался, что видел поразительную женщину, красивую и нарядную, умницу и изящную. Я не сомневался, что она умница, женщина с такими великолепными глазами, с такой тонкой талией не могла не быть умной. А что она красива, я видел собственными глазами. Она инженер, руководитель исследовательского цеха — разве это не доказывает ее необыкновенности? Женщина-металлург — это не кот начихал! И какие у нее фокусные туфли, черт побери, какими она напоена духами!

Анучин ласково улыбался, скрывая ладонью зевоту. Из всех человеческих страстей он раньше других потерял в тюрьме порыв к женщине. Женщина оставалась темой для разговоров, но не поводом для мук. Вечная наша овсовая каша мало способствовала кипению нежных эмоций. Умный мужчина привлекал Анучина больше, чем красивая женщина.

Все же он и тут не захотел меня огорчать.

— Да, конечно, красивые туфли, — оказал он. — И особенно духи, я понимаю! Но как она прошла по нашей грязи, не испортив туфель и не запачкав платья? Наверное, переодевалась на заводе, как вы думаете? О, это настоящая женщина, раз она потащила свои наряды на руках в тундру, такой женщиной стоит увлечься.

— И мне кажется, — сказал я, обрадованный. — Но я, конечно, и не собираюсь ею увлекаться, у меня нет никаких шансов на взаимность. Заключенный, почти раб, и она — потомственная вольняшка, мой начальник!

— Не вешайте носа, — посоветовал он. — Смелость города берет. Римские императрицы приближали к себе рабов. Начальник цеха — это все же пониже, чем императрица, не правда ли? Вам еще нет тридцати лет, у вас крепкие руки и хорошо подвешенный язык — пустите в ход эти бесценные богатства...

От конторы строительства донеслись удары лома о подвешенный к кронштейну рельс — сигнал окончания рабочего дня.

Мы вылезли из-под тачки. Анучин взял меня под руку, как перед тем Альшиц. Мы направились к вахте, где бригады строились на выход.

Дождь затихал, превращаясь в прежнюю пронзительную мокрядь. Тучи летели так низко, что края их временами задевали за наши головы. Я любовался странной картиной — пики попадавшихся нам изредка лиственниц часто пропадали в сплошном тумане, а ниже все было отчетливо видно на километры. Этот придавленный грозным, молчаливо кипящим, уносящимся куда-то вдаль небом тундровый мир был до слез темен и скорбен. В его униженности и унылости была своеобразная красота. Я с наслаждением топтал его ногами, вслушивался во всхлипы под каблуком.

Недалеко от вахты к нам подошел Липский. Анучин извинился и побрел отыскивать свою пятерку. Липский дрожал от холода в насквозь промокшем бушлате. Он сунул руки в рукава, жалко согнулся. Нам надо было проторчать на ветру не менее часа, пока мы доберемся к воротам. Мимо нас прошли два человека, закутанные в одеяла, как в плащи. Липский с завистью смотрел им вслед.

— Додумались все же!.. Завтра и я попробую. Одеяло легко пронести под пальто, а потом — вытащить и накрыться. Удивительно удобно! Как по-вашему? Я не ответил. Я думал о новом месте работы и о прекрасной женщине, моей будущей начальнице. Около нас скапливалась толпа — молчаливые, озябшие, скорбные люди. Липский тронул меня за руку, чтобы вывести из задумчивости.

— Сергей Александрович, займемся делом, — сказал он. — Мы разобрали с вами новые теории времени и энергии. Перейдем теперь к пространству и тяготению.